

Иван ВАСИЛЬЦОВ, родился в 1972 году в Ульяновске. Сын поэта Владимира Пыркова.

В 1995 году окончил Саратовский педагогический институт.

Кандидат филологических наук. Автор книг «Дубовый меч», «Ищите мир», «Ненароком вспомнишь обо мне». В 2017 году увидела свет книга И. Васильцова «Гнездо над обрывом» (Ритм, пространство и время в русской усадебной культуре XIX века).

Лауреат международной премии «Золотое перо России». Лауреат Всероссийской литературной премии им. М.Н. Алексеева. Автор целого ряда публикаций в российских и зарубежных СМИ о писателях Симбирска-Ульяновска и Саратова. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России.

ПОЭТ ВО ВЕСЬ РОСТ



Николай Благов – один из лучших волжских поэтов, раскрывающих тему родной природы, автор стихотворных циклов и поэм о Великой Отечественной войне, певец своей малой родины...

...Если бы я знал Николая Николаевича плохо, шапочно или если бы не знал его вовсе, а представлял себе только по стихам, то, вернее всего, именно так вот, с запасом, эпически-покойно, неторопко приступил бы к разговору о нем. Наметил бы пространственную линию его судьбы – от продутого семью ветрами ульяновского Венца до Крестовых-Городищ от Тургенева до Андреевки – различил бы вместе с вами дальний свет тревожного ташкентского поезда, обозначил даты военного детства, мерки послевоенного личностного становления, точки и восклицания профессионального роста (филфак Ульяновского пединститута, лихая вольница редакции «Ульяновского комсомольца» – газеты, выходящей иногда целиком в стихах! – работа на посту ответственного секретаря Ульяновской областной писательской организа-

ции, пост главреда журнала «Волга»), упомянул бы я, конечно, и Госпремию, полученную поэтом за книгу стихов и поэм «Поклонная гора», порассуждал о лейтмотивах и корнях его творчества...

Но ожгусь, как ожгется бы о подгорную симбирскую крапиву-стрекаву. Осекусь до поры. Не посмею заслонять перечислительными рядами живого человека, которого помню и

вижу перед собою в полный рост. Пускай вижу только лишь из своего неблизкого уже детства, пускай взгляд мой, сегодня уже рассеянный и близорукий, выхватывает-запоминает не самое значимое. Непрограммное, что ли. Программные стихи поэта и вообще его творчество щедро и добротнo разобраны во многих статьях, монографиях, научных работах. Блестящий краевед Жорес Трофимов, хранитель симбирских



В центре литературовед, преподаватель Н. Благова Петр Сергеевич Бейсов со своим литературным кружком

древностей, например написал чудесную книгу о Николае Николаевиче, ульяновский (теперь казанский - **Ред.**) поэт и исследователь Рамиль Сарчин посвятил поэту целое разыскание. С сердцем вспоминали его художник Лев Нецветаев и писатель Николай Полотнянко. В тепло и памятно составленной Вячеславом Егоровым антологии «С любовью трепетной» Благов и вообще литературный Ульяновск-Симбирск представлены широко и достойно. Берегут, конечно, память поэта журналы «Карамзинский сад», «Мономах», «Симбирск»... В Ульяновске, где есть Волга, а есть и Свяга-речка, которая – вернее Благова не скажешь – «ласточкою вьется», помнят и лобят Николая Николаевича, и премию Благовскую вручают, и проводят даже Благовские чтения...

И все ж таки я рискну, отважусь на то, чтобы просто рассказать, каким запомнил – затвердил в душе на всю жизнь – большого русского поэта Николая Николаевича Благова, чье «Жар Слово» просияло миру так ярко, так щедро и жертвенно. Понимаете, какая штука выходит: у тебя всегда мало времени, когда ты говоришь о Благове, когда ты просто о поэзии говоришь, потому что тебе приходится иметь дело с метафорами, у которых скорость звука или которые преодолевают звуковой скоростной барьер. Поди-ка поспей за ними:

Ты стала мной.
Ты – дом.
Ты – город.
И вдруг –
Как дальних станций гул,
Как ветка иinea за ворот:
«Не вечно это!..» –
Бог дохнул.
«Не вечно это!..» –
В километры
По рельсам крик твой:
«До свида-а...»
И всю тебя разбила ветры,
Разгрохотали поезда.

А потому – в «даль-дорогу», как Благов любил сказать. Мы едем в Андреевку, и путь наш лежит через Волгу. Редакционный «газик», вдоль и поперек пропахавший все перепутки Ульяновской земли, привычно идет крутым левобережьем, подпрыгивает на ухабах чердаклинской дороги. Позади остается поселок Мирный, курганы Чердаклов встают как миражи

в мареве летнего утра, где-то вдаль, над самым краем волжского крутобережья, наравне с чайками, проглядывают конечки ладных красноярских домов, древнее село Крестово-Городище угадывается за полосою густого разнoлесья, в тихой Поповке гуси вместе с двумя школьниками бредут куда-то по Луговой улице... Дорога становится извилистой, поворотливой, синеглазая речушка Калмаюрка озорно прищуривается на солнышке, а из-за ковылей, как бы

делая нам шаг навстречу, выходит красивое, статное село.

– Вот и Андреевка-то моя, – взволнованно налегает на «о», выходя из машины, поэт Николай Благов. Он такой большой и величавый, что странно: как мог он вообще уместиться в тесной, пахнущей подмаренником и бензином кабине. – Вот тут, в этом самом домишке, жила бабушка Секлетинья – Благов показывает на покосившийся дом, приземистый настолько, что в окна его глядят полевые цветы. – Как говорила она вольно, какие помнила сказы! Там вон, в поле, подалее, работали мы в войну мальчишками – кто на жнейке, кто на плуге...

(«В войну в тыловой опустевшей России, // Мальчишкам оставили труд мужики, // Земля захлестнула нам ноги босые – // По рамы в нее мы пускали плуги». Не о том ли самом поле писал поэт?)

– В том домике, у которого князек с башенками, живет дядя Ваня, с детства дружу с ним, сейчас, верно, коров погнал, пастух он и на все руки – мастак... А дорога-то, вишь, разбегается – я по ней из Тургенева, ну, семилетка была там, в зимние каникулы на снегоступах домой приходил. Да что приходил – прилетал! Вовек не забуду, как прилетал! Только тут могу душой отойти, раздышаться. Родной он, андреевский мой большак...

И как не вспомнить тут благовское, сокровенное, целую картину деревенского мира охватывающее:

Тяжелый,
Душный день,
Белоголовый.
Ни каплей не пробрызнут облака.
И вымя над травой несет корова,
Пыль прошивая ниткой молока.

Живая эта ниточка и память твою насквозь прошивает – только вспоминай, только, по-благовски выражаясь, взгадывай. В Ульяновске в семидесятые мы жили совсем рядом – на улице Карла Либкнехта. «К. Либкнехта», как писали на почтовых конвертах тогда. Мой отец, писатель Владимир Иванович Пыр-

ков, был очень дружен, коротко дружен с Николаем Николаевичем. Благов и другие близкие друзья звали отца Профессором. Николай Николаевич еще – Пырковым. Или Володей, когда был в хорошем духе. И вместе они исколесили по газетно-редакционно-писательским делам всю область, иногда, к великой моей радости, прихватывая и меня. Шофера, который водил тот самый редакционный «газик», звали Сергей Васильевич, а попросту – Генерал. Генерал когда-то нес армейскую службу, хотя и не в генеральском чине, конечно, а, придя на гражданку, стал истинным оруженосцем ульяновских писателей и журналистов, их верным Санчо Панса. Папа с Благовым обожали Генерала за его потрясающие истории, которые он придумывал на ходу, причем очень часто – в стихах придумывал. Вот Благов, отец, журналист Александр Смирнов, фотохудожник Авксентий Галагоза (великий мастер!) и я, шестилетний сорванец, едем в поселок Мирный. Мужики, ясно дело, на обратном пути решают, чтоб газетная заметка, идущая завтра в номер, получилась поярче, взять «Столичной» для вдохновения. И Генерал тут же обыгрывает их поход в местный поселковый магазинчик:

Галагоза, Санька Смирный,
Собрались в поселок Мирный,
Благова с собой берут,
И Пырковы тут как тут.
Долго они совещались,
В магазине оказались.

Тут включался Благов: «Ой ты, Санечка, Санек! Ты купи мне пузырек!».

Генерал еще любил смешить Благова историей о том, как его, Сергея Васильевича, сделают Генеральным секретарем.

– Так, – начинал Генерал старую песню, – у писателей, у каждого, будет своя «Волга», назначу всем еженедельный сухой паек с красной икрой, когда Профессора с Ванюшкой привезут на рыбалку, водоклазы уже будут сидеть на дне с карпами в садках! И на крючки их насаживать. И упаси Боже, если будут пускаться пузыри – всех уволю! А Николаю Николаевичу выделю специальную грибную поляну, где только белые. Спецполяна!

Благов молчал, молчал обыкновенно, а потом не выдерживал и просил, складывая руки домиком: «Все! Хватит! Давай лучше про ерша». И наш добрый, верный шофер, который, кстати, вез меня в жуткий гололед из роддома (не рядовому же доверить такое сокровище), заводил другую шарманку: «Генерал поймал ерша, // Для Профессора kota. // У Профессора берет, // У других наоборот, // Потому что для него // Генерал поймал его». Кто кого для кого поймал, судите сами, а я только замечу, что наш кот Сан Саньч, кстати, обожавший дядю Колю и всегда запрыгивавший ему на руки, любил съесть пару-тройку жирных волжских ершей...

Или, допустим, приходит весна, врывается в Ульяновск с волжского простора вечно ветреный и особенно торопимый Благовым ульяновский май, когда «под водой бунтует поплавок». Горожане кутаются в плащи, зябко поеживаются, поглядывая на букетики синих ветрениц, продающиеся по городским уголкам. А дядя Коля, мой отец, Петр Мельников, Александр Артемов под ясеневым флагом известного ульяновского биолога Виктора Шустова отправляют-

ся на две - три весенние недели в Сурскую пойму, чтобы жить там в палатках, ходить по лесам и следить как обрастает ясеня. Несколько маев подряд, прихватив с собой «снопик удилиц, топор и котелок», в таком или чуть измененном составе уходили друзья в непростые, но такие интересные путешествия. Там были соловьиные лешевы дудки, и переправы через раскаленный стрежень на узких везучих лодочках долбленках, и черемуховые метели на сурских ярах. А почему, думаете, в стихах Благова каждый цветок назван? Каждое птичье крыло – узнаваемо, почему ему удавалось создавать звуковой образ любого стебелечка? И Мельников, и Пырков, и Благов – люди совершенно не кабинетные и презирующие всякий намека на кабинетность – приносили из тех походов немало свободных строк. Отец написал о Суре прямо в походе: «Разлив за разливом в уремах. // Лишь гнев свой остудит река, // Вскипают верхушки черемух // Тугой белизной молока». А вот благовская поэтическая походная добыча:

Не нагулялся вдоволь по росе я,
Среди весны, как в первый раз, стою.
Ах, отчего ж ты рано так посеял,
Брат-одуванчик, голову свою?

Дядя Коля терпеть не мог, если кто-то писал «Какой-то цветок», «Какая-то птичка». «Почему «какая-то»? – немедленно вскипал Николай Николаевич. – Ну ты назви – какая именно, а то у тебя – каждое лыко не в строку! Почитай вон, как Профессор пишет, поучись!»

Профессорское прозвание папа, думаю, получил за умение ответить на любой литературный вопрос например, процитировать наизусть пару страниц из «Истории русской словесности...» П.Н. Полевого, раритетной книги, подаренной ему Петром Сергеевичем Бейсовым. Тем самым знатоком Гончарова Бейсовым, который и Благова учил в педагогическом. Дядя Коля был таким небрежным великаном, всклокоченным, с удивленными большими глазами, глазами размашистыми жемами, с круто взлетающими бровями, в белой майке, в широко расстегнутой рубашке. Мне почему-то казалось, что он был похож на шмеля, про которого писал: «И шмель, // Тяжелобаший, сбитый, // Гудит, // Встречая отворот, // Перед бутонем нераскрытым, // Как бык у запертых ворот».

Уже тогда, в семьдесят седьмом или восьмом, у дяди Коли на груди виднелись седые волосы. Белые-белые.

Ульяновские поэты, прозаики, журналисты постоянно собирались то на Минаева, в писательском уютном домике, то в доме Благова, на К. Либкнехта, 34 (позже на Матросова), где его жена и муза, Ляля Ибрагимовна, припасала для пишущей братии бидончик-другой с квашенной с яблоками капусткой и прочими соленьями, то у нас. Вот тогда-то и толковались настоящие речи, тогда-то и сталкивались жаркие споры, и рискованные анекдоты о начальстве с четвертинки слова понимались. И тосты поднимались. И читались, читались, читались стихи.

– Нет, Пырков, ты посмотри только, какие вещи человек принес. Пойдем-ка на терраску твою, послушаем. И Ванюшку бери с собой.

И мы отправлялись на балкон, который дядя Коля ласково называл почему-то терраской, и слушали, как читает стихи Николай Рябинин, приехавший

из села Тетюшское и захвативший оттуда волшебную часть русского говора. На самом деле фамилия поэта была Сидоров, и Николай Романович, фронтвик, немного стеснялся ее непоэтической расхожести. Я очень ценю стихи Рябинина, его потрясающие откровения о родном Тетюшском, о том, как катался он с горки на санках в детстве, а горкой была крыша наглухо заснеженного материнского дома, и мать в это время вязала ему варежки... Но у нас в тот день Рябинин читал другое – и я запомнил, как после строчки «С березы накрапывал лист» Благов вскочил с места и подбросил меня на руках, так что я чуть не перевалился за перила:

– Это же метафора, Ванька! Ты понял – это же ме-та-фо-ри-ще! Лист накрапывал, а не падал. А? Пырковы? О дожде ничего не сказано, а вся сентябрьская осень – как на ладошке!

Я, разумеется, ничего не понял и не мог понять, но сейчас полагаю, что Благов был очень

прямосердечен в оценках, и его редкая похвала – Рябинина ли, того самого ли Петра Мельникова, «поэта-плотника», как уважительно, едва ли не с поклоном называл Петра Трофимовича отец, бездонно глубокого ли философа в стихе Бориса Бызова, тонкого лирика Владимира Дворянского, Александра Бунина с его блестящим, просто минаевским остроумием, Саши Бунина, которому суждено будет прожить на свете так мало и оставить по себе в людских сердцах свет обаяния и таланта, – дорогого стоила. Слыхал я и то, как «разносил» Благов попавшихся под руку неудачливых авторов, причем не глядя на их чины и звания (что позже не раз припоминалось ему при случае), а если уж кто допускал в стихах грамматическую ошибку, то дядя Коля в шмелиной своей гудящей ярости разрывал бумажный лист на части. «Но если ты русский поэт-то, то как можешь не знать родного своего языка! Ба! Стидища!».

Язык Благова – тема отдельная. Поэт глубоко черпывал народные обороты, смело брал в обиход андреевские и городищевские словечки, знакомые ему с детства еще из бабушкиных сказов. Его письмо счастливо узнаваемо – как узнаваема кисть Аркадия Пластова, у которого в Прислонихе Благов бывать любил очень. И воду из пластовского родника, того, что в конце деревни, ценил особо...

Но тут еще и то, что поэт самое нейтральное слово умел ставить в стихе так, что оно становилось живым и неожиданным – как та водица родниковая.

Но мне еще, еще бы тише.

Все звуки, лес, отзанавесь!

Хочу я голос свой услышать,

Оставленный когда-то здесь.

«Здесь» – это в лесах близ Крестово-Городища, среди папоротников и скрипучих перламутровых груздей. Благов так любил грибную охоту, что дух самой грибницы как бы вомшился в его широкие ладо-

ни. «Вомшился» – тоже благовское словечко. У Благова и радуга не дуга, а – яга, и разговор у него – «каляк», и «осень идет по усадям». А еще створы, и счалы, и булга, и ледолом, и холостежь, «и наклески для телег». «Володя, вот как получается-то, – усмехнулся как-то дядя Коля, – всегда пишу про Ивана да Марью...». Он был щедр на русское белостольное радушное слово, как были щедр на угощение герои его строк: «Груздочков, можа? Осетринки, можа? Ба! Сколь угодно этого добра!». И, наоборот, не был скуп, как другой его персонаж – куркуль, запрещающий родне срывать поспевающие, наливающиеся на ветках румянцем яблоки: «А в окно сияет // щек тугой пожар: // либо сам хозяин // либо самовар. // Там запрет: // «Не трогать!» // Даже для родни: // «Лопать только опадь, // А с сучков – ни-ни!». Если б сказал поэт «с ветвей», что просилось, то враз потерялся бы образ хозяина – кряжистого, зацепистого, добычливого,



В редакции «Ульяновской правды»

какого-то и впрямь сучковатого. Вот он – язык в действии.

А из благовских яблонь целый поэтический сад получился бы! У меня даже есть мечта такая: а что если назвать какой-нибудь особенно румянобокий новый сорт яблок – Благовкой? Хорошо, яблочко звучит – Благовка!

... Эх, как знал Николай Благов русское слово, как чувствовал его, катающееся по блюду, точно волшебное яблочко! Поэт всегда был немного сказочником и не боялся читательского непонимания:

Куда ты, слеза непроглядная?

Куда ты, в какие края?

– По ягоды, дочки, по ягоды,

По ягоды, девоньки, я.

– А солнце глаза твои видят ли?

Куда ты, по пням, по репьям?

Давно уж до дна они вытекли,

Исплакались по сыновьям.

– По мне, а куда ж они денутся

Из жизни при жизни моей?

Да плотью никак не оденутся

Их души у вечных огней.

Живые – стоят непроглядные.

Во сне? Наяву? – Толчя...

По ягоды, дочки, по ягоды,

По ягоды, доченьки, я.

У нас дома дядя Коля представлял этот стих иначе, в другой конечной огласке: «По ягоды, девки, по ягоды, – окал он раскатисто, подглядывая в тетрадный лист, – по ягоды, девоньки, я».

Разгар лета. Ловим рыбу на Красной речке. Вернее, мы с отцом ловим, а дядя Коля, устраивая на костре котелок под уху, ворчит: «Мужики, хватит мелочевку-то собирать, возьмите бредешочек да и зачерпните пару карасиц, кургуzych, как крестьянский лапоть!». Потом он командует: «Все! Купание!». И прежде, чем папа успевает и слово вымолвить, сажает